

Часть 3 Подъем

1956 год

Переосмысление

Несомненно, главное событие 1956 года – открывшийся 14 февраля XX съезд КПСС. Этот первый съезд после смерти Сталина значил очень много. Новому руководству предстояло показать себя и определиться с самим Сталиным.

С одной стороны, как и прежде, в день его рождения и годовщину смерти на первых страницах всех газет появлялись огромные портреты Генералиссимуса, печатались статьи, славившие, пусть уже не «великого вождя и учителя всех времен и народов», но «продолжателя дела Ленина».

С другой стороны, возникало все больше вопросов, и главный среди них: аресты. Аресты в предвоенные годы и новая волна арестов совсем недавно, перед смертью Сталина. Хотелось верить, что «дело врачей», Мингрельское дело «сфабриковал» Абакумов. Его «разоблачил» Берия, потом разоблачили самого Берия. Но до Абакумова и Берии их предшественники Ягода с Ежовым творили то же самое. Их тоже в свое время разоблачили. Как ни хотелось верить, но никак не верилось, что виноваты они одни. То есть внутри себя, подспудно, было понятно, что и они всего лишь исполнители, а настоящий преступник... Имя его знали все, но не решался произнести никто.

Тут возникает естественный вопрос, что они знали, а чего не знали? Примитивно мыслящие наследники из XXI века, не задумываясь, отвечают: «Все они знали, а теперь прикидывались». И на самом деле, находясь на самом вершине, они знали многое, не могли не знать, но знали ровно столько, сколько позволял им знать товарищ Сталин. Он стоял за репрессиями, он их организовывал, направлял, а когда считал нужным, приостанавливал. Зная многое, они догадывались об еще большем, но сложить отдельные эпизоды в общую картину не позволяли себе, и не только из чувства самосохранения – тогда пришлось бы и самим себя признать соучастниками в преступлениях против своих, если не товарищей, то коллег. Всем им хотелось верить, что они не знали того, что знал товарищ Сталин.

Человеческая сущность и даже совесть так устроены. Понимая, но не имея возможности вмешаться, человек даже самому себе не признается в этом понимании. Английский писатель Джордж Оруэлл еще за десять лет до XX съезда прозорливо назвал такое состояние «двоемыслием». Теперь пришла пора от двоемыслия избавляться, а избавление никогда не происходит легко, без мучений.

Большинство вообще предпочитают обойтись без них, оставить все по-старому, если не в мире, то в своем собственном внутреннем мире. Там они хозяева и очень легко «доказать» себе, что их божество – «хозяин» – не виноват, а виновны окружающие, особенно те, кто покусился на его «божественность». Меньшинство заставляет себя задуматься, разорвать путы «двоемыслия», взглянуть на окружающий мир и самих себя если не объективно, то хотя бы отстраненно. Таким людям приходится особенно тяжело, но именно они продвигают наш мир в будущее. Все они, члены высшего советского руководства, за исключением разве абсолютно циничного Берии, были больны, инфицированы Сталиным. И у отца с Микояном, и у Молотова с Кагановичем, и у всех остальных любой разговор, о чем бы

они ни говорили, скатывался к Сталину. Теперь каждому из них волей-неволей приходилось многое переосмысливать.

Но болезнь у каждого протекала по-своему.

Отца с Микояном так же, как Булганина с Сабуровым, мучила совесть, одолевали сомнения. «Мы построим рай на земле», – повторял отец и однажды добавил: «Но что это за рай, окруженный колючей проволокой?» Колючую проволоку следовало убрать, и поскорее, тут отец не сомневался, но как быть со Сталиным?

У других, в частности у Молотова, Кагановича, Ворошилова совесть вела себя спокойно: при Сталине все делалось правильно и его преемникам необходимо держаться проторенной колеи.

Прозрение у отца, о его сотоварищах судить не берусь, наступало постепенно и очень болезненно. Из небытия возникали призраки прошлого: люди, друзья, казалось бы, навсегда канувшие в лету, вычеркнутые из жизни, одна случайно сохранившаяся фотография могла тогда стоить жизни.

Отец ворочался по ночам и вспоминал, вспоминал, как все начиналось.

В двадцатые годы Москва для него была чем-то нереально далеким, так же, как и революционные вожди, где-то там в Кремле ворочавшие судьбами страны, ссорившиеся между собой, мирившиеся и снова ссорившиеся. В начале двадцатых он, молодой революционер-романтик, увлекся столь же романтическими фантазиями Троцкого о перманентной мировой революции. Но вскоре суэта донбасских будней сначала в уездном масштабе, потом областном не оставили от романтики и следа. Да и Троцкий быстро скатился с политического Олимпа.

В столичной политической кухне отец начал вариться с поступлением в Промышленную академию в 1929 году. Теперь он с симпатией относился к антиподу Троцкого – Николаю Бухарину, выделял, как и большинство партийцев, более им понятного Сталина. До второй половины тридцатых годов, до начала массовых репрессий отец безоговорочно стоит на стороне Сталина, борется с левой оппозицией, потом с правой, затем с лево-правой. Аресты оппонентов Сталина объяснялись и оправдывались логикой борьбы: или мы их, или они нас. Даже на пике репрессий в 1937-м отец еще не позволял себе задумываться (а позже – винил себя в слепоте). Но уже тогда он, видимо, начал прозревать.

У отца не шел из памяти его старый друг Гриша, Григорий Наумович Каминский. Они сошлись в Промышленной академии; Каминскому, ее ректору, и отцу, с мая 1930 года секретарю партийной организации, приходилось общаться почти ежедневно. В том же 1930 году Григория Наумовича перебросили в Московский партийный комитет, отец же в январе 1931 года стал секретарем одного из райкомов. В 1934 году Каминского сделали наркомом здравоохранения, сначала России, а потом всего Союза.

На Пленуме ЦК 23–29 июня 1937 года Сталин призвал очиститься от скверны, попросил всех по-большевистски, без утайки рассказать товарищам о собственных прегрешениях и не только собственных. Каминский, несмотря на свой дореволюционный стаж конспиратора, 26 июня вылез на трибуну и посетовал, что во время Гражданской войны ходили слухи, якобы первый секретарь Закавказского крайкома товарищ Берия в 1919 году, в период оккупации британской армией Азербайджана, служил в английской и муссаватистской контрразведке и хорошо бы Лаврентию Павловичу просветить Пленум на этот счет. После его выступления сразу объявили перерыв. На выходе из зала заседаний Пленума Каминского арестовали как «врага народа». На вечернем заседании Сталин предложил Пленуму вывести Каминского из кандидатов в члены ЦК и исключить из партии «как не заслуживающего доверия». Все дружно проголосовали «за». 8 февраля 1938 года Каминского расстреляли.

Отец заставлял себя и не мог заставить поверить, что Гриша – «враг народа, террорист, связанный с иностранными разведками». Не укладывалось такое в его голове. После смерти

Сталина отец поинтересовался, в чем состояла вина Каминского? Через пару месяцев Генеральный прокурор Руденко ответил кратко: «Ни в чем».

5 марта 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР реабилитировала «Григория Наумовича Каминского за отсутствием состава преступления».

Вслед за Каминским арестовали помощников отца Д. М. Рабиновича и И. Д. Финкеля. В их преданности советской власти он тоже не сомневался. Их тоже реабилитировали. И таких реабилитаций становилось все больше, на все запросы о вине исчезнувшего в сталинские времена того или иного известного ему человека, отец получал из прокуратуры неизменный ответ: «Состав преступления отсутствует, не виновен».

А чего стоили отцу подозрения Сталина в его собственной неверности. В себе-то отец точно не сомневался, но и он мог оказаться в числе «врагов», спасся только благодаря везению.

Разве мог он забыть, как Сталин неожиданно вызвал его в Кремль и, уставившись своими желтыми зрачками в карие глаза отца, произнес: «Вы не Хрущев, на самом деле вы...» – он назвал какую-то польскую фамилию, отец ее не запомнил. С войны 1920 года Сталин ненавидел поляков, преследовал их, как в Средние века инквизиторы преследовали еретиков, принадлежность к «лицам польской национальности» влекла за собой почти неотвратимый расстрел. Еще страшнее было бы услышать от Сталина: «Что это у вас глаза бегают?» Отец знал о такой манере Сталина проверять на благонадежность, он не запаниковал, глаз не отвел, начал оправдываться – какой он поляк, его в родной Калиновке каждая собака знает, все легко проверить.

– Наверное, это Ежов спьяну наплел, – как показалось отцу, с облегчением произнес Сталин и больше к его «польскому происхождению» не возвращался.

А чего стоила отцу перевыборная партийная конференция в Москве в разгар страшного 1937 года! Тогда перед самым голосованием в Бюро областного комитета партии отцу позвонил секретарь ЦК Ежов с требованием провалить только вчера согласованного в ЦК с ним же высокопоставленного чернобородого военного (отец не мог припомнить его фамилию²³), Сталин в последний момент заподозрил его в измене. Следом за Ежовым позвонил его заместитель Маленков с аналогичным поручением от Сталина, но уже в отношении старожила партии Емельяна Ярославского. И так без конца. Каждый раз отцу приходилось выступать, изворачиваться, проводить в жизнь, проталкивать полученные сверху приказы, клеймить позором «отступников и террористов». Искренние или не очень, значения не имело, чуть сфальшивишь и тут же сам окажешься в их числе.

В 1938 году, когда отец возглавил ЦК Компартии Украины, ему пришлось лично познакомиться с механикой вынесения смертного приговора: члены Политбюро рассаживались вокруг длинного стола, Сталин присаживался не в торце, а сбоку, на уголке, вынимал из кармана френча «расстрельный» список, демонстративно на нем расписывался и пускал по кругу. О том, чтобы не поставить свою подпись, и речи не было: Сталин внимательно следил, КАК каждый расписывается. Будучи только кандидатом, отец не обладал правом голоса. Его подпись на подобных документах отсутствует. Но он не мог бы ее не поставить, если бы Сталину она почему-то понадобилась.

В феврале 1938 года отец приехал на Украину достаточно «подготовленным». Его, казалось, уже ничем нельзя было поразить. Оказалось, можно. По республике, по его выражению, «как Мамай прошел», в обкомах и горкомах не осталось секретарей, иногда даже технических, в обл- и горисполкомах взяли председателей вместе с заместителями.

²³ Это, скорее всего, Ян Борисович Гамарник, в 1937 году заместитель наркома обороны. Чтобы избежать ареста, он застрелился.

На Украине отец погрузился в трясину доносов, еще более вязкую, чем в Москве. Началось с недавно переведенного из Смоленска и назначенного Председателем Украинского правительства Демьяна Сергеевича Коротченко. Новый нарком внутренних дел Александр Иванович Успенский, тоже недавний москвич, объявил его украинским националистом и румынским шпионом. Сейчас все это кажется смешным, а тогда отец, смертельно рискуя, звонил Сталину и доказывал, что никакой Коротченко не националист, он на Украине «без году неделя» и по-украински еще говорить не выучился. Только стихло дело Коротченко, как Успенский потребовал завизировать приказ на арест украинского поэта Максима Рыльского, он-де тоже украинский националист, пишет свои стихи по-украински.

– А на каком же языке ему писать? – попытался разрядить атмосферу отец.

Нарком не ответил и насупился. Отец тогда на приказе не расписался, но понимал, что это лишь отсрочка. Он нашел выход из положения: позвонил Сталину и, изложив претензии наркома, «наивно» попросил совета: «Поэт Рыльский написал слова к песне о Сталине, ее поет вся Украина, арестовывать его или нет?» Сталин, выдержав паузу, ответил, что займется этим делом сам. Рыльский остался жить, а вот наркома Успенского вскоре арестовали.

Отец и на Украине продолжал истово славить вождя, не больше, но и не меньше всех остальных: партийных секретарей, доярок, поэтов, писателей... Насколько искренне? До последнего времени я считал, что тогда он еще верил в Сталина. Оказалось, что я ошибался. В 1991 году мы с женой Валей и нашим знакомым американским профессором Уильямом Таубманом, он тогда собирал материалы для своей книги о Хрущеве, поехали по местам, где отец начинал свою жизнь. Естественно, завернули в Донецк, бывшую Юзовку. Там мы повстречались с Ольгой Ильиничной, дочерью друга юности отца, Ильи Косенко. Она хорошо помнила, как перед войной Никита Сергеевич дважды навещал их семью. Первый раз, сразу после назначения в Киев, в апреле 1938 года, он заехал к Косенкам не столько повидаться, сколько проверить, живы ли они. Жили Косенки бедно, в халупе. Все тогда так жили. Хозяева перепугались, когда перед их домом остановилась кавалькада черных лакированных лимузинов. Завидев вылезавшего из машины отца, Косенко успокоился, но навстречу гостю не спешил, продолжал стоять возле калитки. Отец узнал Косенко, заулыбался, попытался его обнять. Тот объятиям не противился, но сам даже рук не поднял, так и стоял столбом. Отец отступил на шаг и, продолжая улыбаться, произнес дежурное: «Как ты тут живешь Илья? Сто лет мы с тобой не виделись».

– Жив, как видишь, – как-то безжизненно ответил Косенко и тут же поправился: – как видите.

Тем временем за спиной отца толпились приехавшие с ним областные и районные начальники. Чуть поодаль рассыпались охранники в штатском.

– Пойдемте в хату, – не очень уверенно предложил Косенко. – Вот только места у меня маловато.

Он вопросительно посмотрел на отца. Илья намекал, что предпочел бы говорить наедине, но отец, посчитав, что его друг стесняется, бодро произнес: «В тесноте, да не в обиде».

В небольшой горнице действительно оказалось тесновато. Косенко предложил отцу присесть к стоявшему в центре комнаты обеденному столу, сам сел рядом. Сопровождавшие остались стоять. Отец, не замечая неловкости, расспрашивал Косенко о жизни. Тот отвечал односложно, казенными словами. Восемилетняя Ольга, его дочь, вцепившись в руку отца, с испугом озиралась на незваных гостей. Откровенного разговора со старым другом не получалось.

Наконец они на короткое время остались в хате одни. Сопровождавшие вышли на улицу покурить, Косенко строго предупредил – в хате не курят. Илья прошептал отцу в ухо: «Есть много что порассказать, но одному тебе, – он с напором произнес «тебе», – а так, ты

уедешь, а я останусь...» Косенко неопределенно махнул рукой в сторону входной двери и, горько усмехнувшись, добавил: «Ты даже не узнаешь, что со мной случилось».

Ольга на всю жизнь запомнила его пронзительный шепот.

Заскрипела дверь, перекур на крыльце закончился. Отец стал прощаться.

Вторично отец заехал к Косенко через пару лет, в 1940-м, теперь уже без сопровождавших. Они уединились в саду под вишнями. Единственный охранник остался сидеть в машине. Но им только казалось, что они одни: под вкопанным в землю столом, накрытым по случаю приезда гостя расшитой узорами, свешивающейся до земли скатертью, схоронилась Оля, все та же дочь Косенко. Ей очень хотелось узнать, зачем такой важный гость снова пожаловал к ее батьке, что отец в прошлый раз обещал ему рассказать.

Сидела Оля тихо как мышка, запоминала каждое слово. После расспросов о бывших общих соседях, о старых друзьях, их осталась в живых лишь горсточка, многие пропали в тридцатые годы, отец поинтересовался, в партии ли Илья? Если нет, то он даст ему рекомендацию, поможет перебраться в Киев устроиться на хорошую работу.

– Ольга школу окончит, в университет поступит, – отец считал, что его друг с радостью и благодарностью откликнется на столь заманчивые предложения, но вышло иначе.

– Нет, – с напором на «нет» ответил Косенко. – Не нужна мне ваша партия, которая *так*, – он снова подчеркнул «так», – с людьми обходится. Что вы, *ваша* партия, со страной сделала? Разрушили вы партию. В настоящей партии состояли Киров, Якир, Тухачевский. Где они теперь?

Воцарилось молчание. Отец не знал, как отреагировать на неслыханную крамолу. Ведь он не последний человек в этой партии, которая *так* обходится с людьми. Ольга затаила дыхание – если ее обнаружат, отец ей не спустит своеволия.

– Не партия это, Илья, – услышала она потерявший обычную звонкость хрипловатый голос Никиты Сергеевича, – не партия, а эта сука Мудашвили все натворил. Когда-нибудь мы ему всё припомним – и Кирова, и Якира, и Тухачевского, и не только их.

Ольга сидела ни жива ни мертва, она не поняла, кто такой Мудашвили, но ощутила, что речь зашла о чем-то страшном.

Что еще обсуждали старые друзья, она не запомнила, в голове стучало: «Сука Мудашвили».

Наконец, гость засобирился уезжать. Косенко пошел его проводить, а Ольга, выскочив из-под скатерти, никем не замеченная, скрылась в кустах смородины.

Через некоторое время она не выдержала, спросила у отца, о каком таком «Мудашвили» говорил гость и почему он «сука»?

– Ты все слышала? – не на шутку перепугался Косенко. – Ты должна молчать. Не говори никому о нашем разговоре, иначе они расстреляют и меня, и тебя, и Хрущева.

Шли годы. Косенко умер. Оля стала Ольгой Ильиничной. Она сама стала, сначала мамой, потом бабушкой, но продолжала хранить свою тайну, даже тогда, когда, кто такой «Мудашвили», узнали все. Заговорила только к концу горбачевской перестройки. В конце 1990-х годов Ольга Ильинична умерла. Светлая ей память.

В 1941 году началась война. Отец с первого дня на фронте. В предвоенные годы вопросами обороны он почти не занимался, в его круг обязанностей входили сельское хозяйство, промышленность, но не оборонка. Отца потрясла неготовность страны к войне, уже в первую неделю Москва в ответ на просьбу прислать винтовки приказала ковать пики, вооружить этими пиками новобранцев и гнать их на немецкие танки.

Затем отец пережил в сентябре 1941 года сокрушительный разгром под Киевом, тогда в плен к немцам попало больше миллиона наших солдат. Разгром, вызванный исключительно упрямством Сталина, запретившим, вопреки логике, вопреки мнению Жукова и Генерального штаба, вопреки мольбам Командования Юго-Западного фронта пока не поздно выве-

сти войска из-под неминуемого флангового удара со стороны, развалившегося в Белоруссии Западного фронта.

Через год, зимой 1942-го, под Харьковом, трагедия повторилась. В эйфории декабрьской (1941 года) победы под Москвой Сталин требовал наступать на всех направлениях: развивать успех в центре, на Западе послал 2-ю Ударную армию прорываться в блокадный Ленинград, Юго-Западному фронту предстояло освободить Харьков. Все эти планы рухнули, наткнувшись на железную оборону немцев. В центре наступление застопорилось, Вторая ударная завязла в болотах, попала в окружение, а ее командующий – сталинский выдвиженец генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов перешел на сторону немцев. Не повезло и на юго-западе, где фронтом командовал маршал Тимошенко, а отец состоял Первым членом Военного совета. Немцы тогда планировали свое наступление на Южном направлении, на Северный Кавказ, Баку, Иран, а если повезет – и Индию. Сталинский удар на Харьков пришелся им как нельзя кстати – позволял измотать силы Тимошенко, а потом, в избранный ими самими момент, разгромить остатки советских войск и беспрепятственно ринуться на юг.

Немцы направляли наступление Юго-Западного фронта с первого дня: отходили в центре, держали оборону на флангах, втягивали противника в узкую кишку, чтобы одним ударом окружить его и уничтожить. Тимошенко сначала поддался на немецкую уловку, но через пару дней его начальник оперативного отдела генерал Иван Христофорович Баграмян разгадал, что затевают на той стороне. Стало ясно, что немцы заманивают наши войска в ловушку, как в Киеве, – вот-вот ударят с флангов, и произойдет непоправимое. Отец позвонил Сталину, рядом с ним стоял будущий маршал Баграмян, по его щекам текли слезы, и он, всхлипывая, приговаривал: «Уговорите Иосифа Виссарионовича, иначе все погибнет».

Не уговорили, Сталин даже не подошел к телефону, передал через Маленкова, чтобы Хрущев поменьше совался в военные дела. Это на фронте-то! Непоправимое произошло: немцы захватили четверть миллиона пленных.

В начале лета они, как и планировали, ударили тут же, из-под Харькова, и двинулись, почти не встречая сопротивления, к Волге, к Сталинграду и южнее – к Баку, к Закавказью. Командование фронтом знало о предстоящем наступлении, знало не только направление удара, но и день, час, минуту начала первой атаки немцев. Разведка у них работала хорошо, и в их руки попали оперативные карты одного из немецких корпусов. Они умоляли Сталина прислать им подкрепление. Сталин посмеялся над ними, сказал, что их немцы за нос водят, не дал ни танков, ни самолетов. Об ожидаемом наступлении немцев на юге Сталина предупредил из Лондона и наш разведчик Ким Филби, он читал британские расшифровки сверхсекретных переговоров немецкого командования. Сталин и ему не поверил, он верил только себе. Все резервы сосредоточил вокруг Москвы, там по его, Сталина, логике произойдет решающее сражение.

Отец навсегда запомнил, как командующий фронтом маршал Тимошенко перед началом немецкого наступления обреченно предложил ему взобраться на высотку и оттуда наблюдать, «как нас бить будут». Такое не забывается. Ни победа под Сталинградом, ни разгром немцев на Курской дуге – отец участвовал в обоих сражениях – не заслонили в его памяти крови и страданий, причиной которых был Сталин.

Когда 5 июля 1943 года немцы начали наступление, стремясь «срезать» Курско-Орловский выступ, окружить наши войска, отец служил Первым членом Военного совета Воронежского фронта, которым командовал Николай Федорович Ватутин. Именно на Воронежский фронт обрушился основной удар немцев. Чего стоит одно только танковое сражение под Прохоровкой.

Историки потом подсчитают, что с обеих сторон в битве было задействовано около полутора тысяч боевых машин, из которых более семисот сгорели вместе с экипажами.

Немцы не прошли, их прорыв захлебнулся. В военном отношении отец считал победу под Курском поважнее Сталинградской, там мы окружили уже вконец измотанного боями Паулюса, а здесь, впервые в истории Второй мировой войны, остановили немцев, самих выбравших место и момент наступления, да еще не зимой, а в разгар столь любимого ими лета.

Отец рассказывал, как через несколько дней после сражения он поехал на поле боя у Прохоровки. Его поразили не остовы сгоревших танков – он их повидал достаточно, и своих, и чужих, – сразил его стоявший в воздухе горелый трупный смрад. Этот запах горелого мяса преследовал отца всю оставшуюся жизнь.

Перед началом Курской битвы любимец Сталина украинский кинорежиссер Александр Довженко принес ему сценарий фильма «Украина в огне». Прочитать его отец не успел, ему было не до сценария. Правда, чтобы не обидеть Довженко, все же проглядел его по диагонали, ничего крамольного не обнаружил, более того, нашел его патриотическим. А вот Сталин тогда же, несмотря на накал боев, сценарий прочитал от корки до корки и счел его украински-националистическим. Страшнее обвинения в те времена и придумать трудно. В начале 1944 года, когда уже четко наметился перелом в войне и Сталин вновь взялся за старое, он вызвал к себе, как вспоминал отец, «украинских руководителей, а кроме них писателей Корнейчука, Бажана, Тычину и, кажется, Рыльского. Довженко, естественно, тоже там присутствовал. Сталин разнес Довженко в пух и прах, его будущее как деятеля искусств было буквально подвешено, грозило даже большее. Мне Сталин предложил на основе обмена мнениями подготовить резолюцию о неблагоприятном положении на идеологическом фронте Украины».

Дальнейшая судьба Довженко всецело зависела от отца, он мог его погубить, а мог и попытаться спасти. Отец выполнил задание Сталина, но выполнил по-своему. Довженко раскритиковали, как и полагалось в духе того времени, 12 февраля 1944 года Политбюро ЦК Компартии Украины отметило наличие «в произведениях Довженко грубых политических ошибок» и рекомендовало во Всеславянском комитете заменить А. П. Довженко на М. Ф. Рыльского, вывести А. П. Довженко из комитета по Сталинским премиям и из редакции журнала «Украина», освободить его от обязанностей художественного руководителя Киевской киностудии.

Таким образом, украинцы, то есть он, Хрущев, – «сами себя высекли, однако так, чтобы не было очень больно». На очередном обеде у Сталина отец доложил о принятых мерах. Он не знал, как отреагирует Сталин, но на их общее с Довженко счастье, получил высочайшее одобрение: «Хорошо, вполне приемлемо, принять», – пробормотал Сталин и больше к вопросу о национализме Довженко не возвращался.

Вопрос закрыли. Довженко остался жить. Уже в сентябре он заканчивает работу над сценарием нового кинофильма «Сержант Орлюк». Хотя Довженко и выжил, но что-то внутри у него сломалось, оно и неудивительно, его «как бы посадили в холодный колодец, он попал к Сталину в опалу. Мне просто жалко было на него смотреть, писал отец, но я ничего не мог сделать, сам я подвергся еще большей критике Сталина, чем даже Довженко. Мне долго пришлось «кашлять» этим произведением Довженко. Так сохранялось до самой смерти Сталина, а потом мы возвысили Довженко по заслугам. После смерти Александра Петровича (в 1956 году) я порекомендовал украинцам: «Назовите Киевскую киностудию именем Довженко».

К счастью, с Довженко все окончилось «хорошо», а дай отец слабинку, струсь, – его «дело» покатило бы по «накатанной» колее, с ним случилось бы то, что произошло с Бабелем, Пильняком, Мандельштамом и многими другими. И с отцом, к счастью, тоже все окончилось «хорошо», а приди Сталину в голову, что он «покрывает» украинских националистов...

В 1958 году вдова Довженко Юлия Солнцева сделала в память о нем красочный широкоформатный фильм об Украине «Поэма о море», пригласила отца на просмотр на Мосфильм. Только там имелась соответствующая аппаратура. Отец от фильма пришел в восторг, долго благодарил Юлию Ипполитовну, говорил, что ей удалось воплотить в жизнь то, что Довженко замыслил еще в 1943 году. Я тоже там присутствовал, мне фильм с его так очаровавшими отца, вздымавшимися «до самого неба» днепровскими кручами, бесконечными наплывами на цветущие яблоневые сады показался скучноватым. Но о вкусах не спорят.

После войны критическое отношение к Сталину у отца продолжало накапливаться, я уже писал и о голоде на Украине в 1947 году, и о несостоявшемся «Московско-Поповском деле», и об агрогородах. Затем Сталин умер, настала пора переосмысления прошлого. Отец еще многого, очень многого не знал, пытался докопаться до истины и одновременно боялся этой истины.

Так уж получилось, что катализатором в процессе десталинизации послужил давний знакомый отца Алексей Владимирович Снегов. В 1920-е годы, в Донбассе, отец короткое время работал у него в подчинении. Снегов заведовал Организационным отделом то ли укома, то ли губкома,²⁴ отец ходил в заместителях. Потом отец пошел наверх, а Снегова в конце тридцатых годов с поста секретаря одного из обкомов отправили в ГУЛАГ. Как раз тогда к власти в НКВД пришел Берия, а у них со Снеговым были старые счета еще с двадцатых годов, когда оба они работали в Баку. Снегов к Берии относился крайне отрицательно и, в силу своего характера, никогда этого не скрывал. Берия, в свою очередь, опасался, что Снегов знает слишком много о его прошлом. И он решил принять меры. По крайней мере, так мне рассказывал сам Снегов.²⁵

Осенью 1953 года, когда готовили судебный процесс по делу Берии, начали собирать свидетелей. Их осталось немного, в основном разбросанных по лагерям. Одним из первых разыскали Снегова. О нем вспомнил Генеральный прокурор СССР Руденко, знавший Снегова еще по Украине и в те далекие годы друживший с ним.

Снегова подкормили, приодели и привезли в Москву. Суд закончился, Берию осудили и расстреляли, а Снегова... вернули в тюрьму досиживать срок. На прощание его привезли к Руденко, тот поинтересовался, что он может сделать для своего друга, но тут же спохватился: «Освободить я тебя не в силах».

– Не в силах, так не в силах, – усмехнулся Снегов. – Если в силах, то сохрани мои записи, которые я написал в последние дни, здесь, в Москве.

Снегов протянул Руденко мелко исписанную тонкую тетрадь. Руденко тетрадь взял и, поколебавшись, запер ее в прокурорский сейф. Из Москвы Снегова отправили во Владимирский централ.

В тюрьме Снегов просидел недолго, его окончательно освободили уже в следующем году. Вернувшись в Москву, он тут же начал стучаться во все двери: делом его жизни стало восстановление справедливости, а восстановить ее невозможно без разоблачения главного преступника: Сталина.

Первым он достучался до Микояна, они тоже старые знакомые, когда-то вместе делали революцию в Баку. Выслушав Снегова, Микоян решил свести его с Хрущевым. Снегов предложил захватить с собой еще и Ольгу Шатуновскую, в 1930-е годы она работала с отцом в Москве. Так же, как Снегов, Шатуновская отсидела восемнадцать лет в лагерях. Так же, как и он, совсем недавно вырвалась на волю.

²⁴ Уком – уездный комитет, губком – губернский комитет партии.

²⁵ В 1963–1964 годах я часто встречался со Снеговым. Подробнее о нем я написал в книге «Пенсионер союзного значения».

На тот момент из всего Президиума ЦК я бы только Микоян назвал единомышленником отца. Правда, Микоян ставит на первое место себя, утверждает, что именно он, Микоян, начал первым раскапывать преступления Сталина. Не берусь судить о хронологии, дело не в первости, а в совпадении взглядов, очень важно чувствовать рядом локоть соратника. Что же касается первости, оба они написали воспоминания, оба они ушли из жизни, и нам теперь уже нечего добавить.

Члены Президиума ЦК: Маленков, Булганин, Шверник, Сабуров, Первухин и даже вновь избранные в высшее руководство: Суслов, протеже отца – Аристов с Кириченко и примыкавший к ним Шепилов, поддерживали отца, но не по велению сердца, а потому, что он сохранял лидерство. Они привыкли поддерживать сильнейшего. Менялся расклад, вместе с ним менялись и их пристрастия. Пока же отец оставался вне конкуренции. Исключение составляли Молотов, Каганович и Ворошилов, слишком многое их связывало со Сталиным, они помнили не только о своих подписях на расстрельных списках, но и о «от души» сделанных приписках: «Сволочи», «Мерзавцы», о прямых указаниях следователям: «Бить, бить, бить».²⁶

Отец пригласил к себе в ЦК Снегова с Шатуновской. Их рассказ, в первую очередь, их убежденность, в том числе и в том, что за спиной Николаева, убившего 1 декабря 1934 года первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Мироновича Кирова, стоял сам Сталин, подтверждал самые страшные догадки отца. Он попросил их описать все сказанное в письме в Президиум ЦК. Его вслух зачитал Булганин на заседании 31 декабря 1955 года.

Когда дошло до убийства Кирова, Ворошилов, не выдержав, выкрикнул: «Ложь!» Однако присутствовавшие его не поддержали, и он затих. Булганин закончил чтение. Наступило молчание. Никто не хотел начинать первым.

– Если проследить, пахнет нехорошим, – первым, как всегда, пришлось говорить отцу, – надо проверить, вызвать оставшихся в живых свидетелей.

– Это ничего не даст, – перебил отца Молотов, – проверять надо документы.

Его поддержал Каганович. Оба они знали, что документы подтвердят сталинскую версию о причастности к убийству Кирова Зиновьева, и только его одного. Микоян встал на сторону отца.

Свидетелей допросили, тех немногих, кого удалось разыскать. Большинство из них распростились с жизнью сразу после окончания следствия по делу Кирова, за которым следил лично Сталин. Неоспоримых фактов причастности или непричастности Сталина к преступлению они привести не смогли.

На том, предновогоднем заседании отец предложил создать специальную комиссию, вменив ей в обязанность разобраться не только с убийством Кирова, но и копнуть поглубже. Особенно его интересовала судьба делегатов XVII съезда партии, «Съезда победителей», как назвал его Сталин. Большинство «победителей» и те, кого отец хорошо знал, и кого не очень – исчезли без следа. Члены Президиума ЦК заспорили, кого включить в комиссию, дело уж больно щекотливое. Микоян предложил в комиссию из высшего руководства его самого, отца, Молотова, Ворошилова и в добавку к ним еще кое-кого рангом пониже. Отец предпочел роль арбитра и свое участие в комиссии отклонил. По мнению отца, работу следовало поручить историкам партии, а во главе поставить «главного историографа», одного из авторов «Красного курса истории ВКП(б)», Секретаря ЦК Петра Николаевича Пospelова. Он писал эту «историю», пусть сам же теперь ее и расхлебывает. В результате в комиссию включили функционеров второго партийного эшелона: Аверкия Борисовича Аристова от ЦК, Николая Михайловича Шверника от профсоюзов и Павла Тимофеевича Комарова от комиссии пар-

²⁶ К примеру, такая «битьевая» резолюция Молотова стоит напротив фамилии арестованного Михаила Баранова, начальника Санитарного управления Красной Армии.

тийного контроля, а также Генерального прокурора Руденко и Председателя КГБ Серова. КГБ предписали предоставлять Комиссии любые, даже самые секретные документы.

И до встречи отца со Снеговым и Шатуновской, начиная с самого 1953 года, освобождали из лагерей политических, кого с реабилитацией, а кого просто так, по умолчанию. Но двигалось все медленно, они же потребовали настежь раскрыть двери лагерей, освободить практически всех и сразу. И без Снегова с Шатуновской процесс пошел бы тем же путем. Но так уж получилось, что судьба избрала своим орудием возмездия за содеянные Сталиным преступления именно их двоих.

Снегова отец назначил своим «комиссаром» в МВД к Круглову. Ему, недавнему «сидельцу», вменялось надзирать не только за реабилитацией, но и за соблюдением законности в Министерстве, где само слово «законность» давно забыли. Шатуновская выполняла схожую задачу в комиссии Партийного контроля. Снегов и Шатуновская стали первыми в российской истории уполномоченными высшей властью наблюдателями за соблюдением того, что сейчас называют «правами человека».

Забегая вперед, скажу, что оба они в МВД и КПК пришлось не ко двору, слишком настойчиво требовали освобождения заключенных, их реабилитации, постоянно совали нос в самые заповедные уголки еще вчера никому неподсудных «органов». При первой возможности от них постарались избавиться, сначала отобрали допуски к секретным материалам, а затем и вовсе отправили на «персональную» пенсию. Однако Снегов с Шатуновской и не думали сдаваться, до конца своих дней – а прожили они, закаленные в сталинских лагерях, долго – стучались во все двери, писали во все инстанции, разоблачали, разоблачали, разоблачали... Пока Хрущев оставался у власти, их вежливо выслушивали, но мало что принимали. Когда же отца от власти отставили, их и слушать перестали.

Параллельно с работой комиссии Пospelова отец затеял собственное расследование. 1 февраля 1956 года на заседание Президиума ЦК из тюрьмы доставили важного свидетеля, к тому времени уже арестованного вслед за Берией одного из высших чинов госбезопасности, в тридцатые годы заместителя начальника следственной части по особо важным делам Бориса Вениаминовича Родоса. Это он «выбивал» показания из Косиора, Чубаря, Постышева и еще из многих и многих других. Это его подследственный маршал Василий Константинович Блюхер после восемнадцати дней непрерывных избиений умер в тюрьме, так и не дождавшись смертного приговора.

«На наше заседание пришел человек, еще не старый, – вспоминал впоследствии отец. – Я спросил его: “Вы вели дело Чубаря?” – “Да, я”. – “И как он сознался в своих преступлениях?” Тот говорит: “Мне дали директиву: бить его, пока не сознается. Вот я и бил его, он и сознался”».

Вот так просто! Осудили его за такое следствие, хотя этот следователь оказался слепым орудием, он верил партии, он верил Сталину».

На том заседании Президиума ЦК его члены вели себя по-разному. Относительно молодой Сабуров не выдержал, воскликнул: «Если факты верны, разве это коммунизм? За это нельзя простить».

– С ума можно сойти, – отозвался Микоян.

– Сталина как великого руководителя надо признать, – не согласился с ними Молотов и назидательно добавил: – неправильности надо соразмерить.

– Нельзя в такой обстановке решать, – поддержал его Каганович, – тридцать лет Сталин стоял во главе.

– Партия должна знать правду, но преподнести, как жизнью диктуется, – лавировал Ворошилов, – период диктовался обстоятельствами. Мерзости много, но надо подумать, чтобы с водой не выплеснуть ребенка.

– Правду восстановить, но правда и то, что под руководством Сталина победил социализм. Надо все соразмерить, – присоединился к Ворошилову Молотов.

– Сталин предан социализму, но... партию он уничтожил. Не марксист он. Все святое стер, что есть в человеке. Все своим капризам подчинял, – подвел итог Хрущев.

Так что ко времени окончания работы комиссии Пospelова члены Президиума ЦК уже кое-что знали, но не более, чем кое-что...

Комиссия представила материалы расследования Президиуму ЦК 9 февраля 1956 года, примерно через месяц после начала работы и перед самым открытием назначенного на 14 февраля XX съезда партии. Председатель комиссии Пospelов зачитывал отчет вслух. Поправив на носу старомодные, с огромными диоптриями очки, он начал бубнить. Так же бесцветно Пospelов выступал и на партийных собраниях в ЦК, и на заседаниях Академии наук, где он числился «партийным» академиком-историком. «Ему было трудно читать, – вспоминал Микоян, – один раз он даже разрыдался».

Отец пришел в ужас. Он ожидал разоблачений, но такого... В 1935–1940 годах подверглись репрессиям две трети партийных и советских работников, занимавших хоть какие-то, даже незначительные должности. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде «победителей», арестовали 98, а из 1 966 самих «победителей» – делегатов съезда, арестовали 1 108 человек, расстреляли 848. Не миновала чаша сия и тех, кто не занимал никаких должностей. Только за 1937–1938 годы НКВД арестовало 1 548 366 человек и расстреляло почти половину из них – 681 692 узника. Полтора миллиона арестованных и почти три четверти миллиона казненных советских граждан! И это безо всякой войны, просто так, по наветам соседей или по разнарядке местного НКВД.

В докладе Пospelов ограничился всего двумя годами сталинских репрессий, но и двух лет оказалось достаточно... Какое-то время члены Президиума сидели как оцепеневшие.

– Что за вождь, если он всех уничтожает? – прервал тишину отец и замолк, подбирая нужные слова. Потом продолжил. – Надо проявить мужество, сказать правду. Съезду сказать. Кому сказать?

Снова повисла пауза.

– Может быть, товарищу Пospelову? – не очень уверенно произнес отец и оглядел присутствующих. Никто не отозвался и он продолжил:

– Когда сказать? Вопрос остался без ответа.

– На заключительном заседании, – подвел итог отец. Пришла пора высказываться и остальным, в таких обстоятельствах отмолчаться никто не мог себе позволить. Вот только говорить никому не хотелось.

– Надо сказать, – нарушил молчание Молотов, – но сказать не только это. Сталин – продолжатель дела Ленина. После Сталина мы вышли великой партией.

Он говорил несколько минут, в волнении заикался, запинаясь, подыскивал слова в пользу Сталина, но после сообщения Пospelова нужные слова находились с трудом. Наконец Молотов иссяк.

Отец неопределенно хмыкнул, начал было что-то отвечать, но тут вмешался Каганович.

– Историю обманывать нельзя, – быстро сориентировался он. – Докладывать – товарищу Хрущеву. Мы несем ответственность, но такая тогда сложилась обстановка. Но мы были честны, борьба с троцкистами оправдана. Я согласен с товарищем Молотовым, все надо провести с умом. Как сказал товарищ Хрущев, как бы нам не развязать стихию.

Лазарь Моисеевич почувствовал, что он окончательно запутался и резко, на полуслове оборвал свое выступление.

Следующим выступил Булганин. Он полностью поддержал отца.

– Мы не в отпуску, – произнес Ворошилов. Что это значило, никто не понял. – Всякая промашка повлечет за собой последствия, – пытался определиться Климент Ефремович, но определиться у него не получалось. – Были враги? Были. Сталин осатанел. Тем не менее, в нем много человеческого, но были и звериные замашки.

– Не можем не сказать съезду, – квинтэссенция выступления Микояна.

– На съезде доложить, – вторил ему Первухин.

– Делегатам рассказать все, – сухо произнес Суслов.

– Съезду сказать, – это уже слова Маленкова. – Испытываю чувство радости от того, что оправдываем товарищей, но их не оправдать, не объяснив роли Сталина. «Вождь» действительно оказался «дорогой». Связать с культом личности. Не делать доклада о Сталине вообще.

Как «оправдать товарищей, объяснить роль Сталина» и одновременно «не делать доклад вообще» – Маленков не объяснил.

– ЦК не может молчать, – еле слышно произнес Шверник, – иначе улица заговорит. Кошмар...

– Молотов, Каганович, Ворошилов – фальшивят, – рубил сплеча Сабуров, – Каганович говорит о недостатках, когда они по сути – преступления. Мы много потеряли благодаря глупой политике и с проливами Босфор и Дарданеллы, не говоря уже о Финской войне, Корее, блокаде Берлина. Испортили отношения со всеми. Сказать правду о Сталине до конца.

«Старики» высказались все, настала очередь «молодых», со Сталиным в 1930-е годы не повязанных.

– Не согласен с прозвучавшим в выступлениях Молотова, Кагановича и Ворошилова: «Не надо говорить», – громко, чуть громче, чем требовалось в небольшом зале заседаний Президиума ЦК, начал выступление секретарь ЦК Аверкий Борисович Аристов. – «Мы этого не знали» – недостойный аргумент. Годы были страшные, годы обмана народа.

– Правильно товарищ Хрущев предлагает, правду надо сказать, – присоединился к Аристову еще один «новичок», тоже Секретарь ЦК Николай Ильич Беляев. – Делаются оговорки, как бы не потерять величие Сталина, но в этом величии надо еще разобраться.

– Писали о Сталине от сердца, – вкрадчиво начал Шепилов. – Шевелились глубокие сомнения... Надо сказать партии, иначе нам не простят. Говорить правду, но продумать форму, чтобы не было вреда.

– Какой тут вред? – отпарировал Кириченко. – Не может быть вреда. Невозможно не сказать.

– На съезде ЦК должен высказаться, – последним говорил Пономаренко, – гибель миллионов оставляет неизгладимый след.

– Нет расхождений, съезду сказать, – подвел итоги обсуждению отец. – Развенчать до конца, но не смаковать, кто будет делать доклад – обдумать.

На этом заседание Президиума ЦК закончилось. Все расходились подавленными.

Отец вышел из зала вместе с Микояном, в приемной они столкнулись с Шатуновской, внутрь ее не пустили, она все это время просидела в «предбаннике», на случай, если понадобится какая-то справка. Завязался разговор. О чем? Остается только догадываться. Но догадаться не трудно. Она говорила, что комиссия копнула только первый слой и надо продолжить расследование. Микояну запомнились приведенные ею цифры: Пospelов сообщил, что за 1937–1938 годы арестовали полтора миллиона человек, а по данным КГБ СССР, предоставленным Шатуновской, за семь лет, с 1934 по 1941 год, репрессировали восемнадцать с половиной миллионов, более 15 % тогдашнего населения Советского Союза, из них расстреляли около миллиона. Разум нормального человека не способен вместить в себя преступления подобного масштаба.

Приведенные мною выше записи Малина документально подтверждают происшедшее в тот день: обсуждение состоялось, кто выступил и, очень кратко, кто что сказал. Переживания, тональность выступлений – все это осталось за кадром. А эмоции в тот день бушевали нешуточные. Воспоминания о том, как проходило обсуждение записки Пospelова, оставили два человека: отец и Микоян.

Начну с отца.

«Вот съезд кончится. Будет принята резолюция. Все это формально. А что дальше? На нашей совести останутся сотни тысяч расстрелянных людей, включая две трети состава Центрального Комитета, избранного на XVII партийном съезде. Редко, редко, кто удержался, а так весь партийный актив расстреляли или репрессировали. Редко кому повезло, и он остался жив. Что же дальше? Записка комиссии Пospelова сверлила мне мозг», – делится своими переживаниями отец.

Отец колебался. Рассказать обо всем? Промолчать? Попытаться выбраться из трясины беззакония и лжи, опираясь на новую ложь? О том, что выбираться придется, сомнений у него не возникало, он считал, что будущее общество должно строиться не на репрессиях, а на власти народа. Но как это сделать, не сказав тому же народу правду, не исключив навсегда возможность прихода к власти нового диктатора, прихода за дымовой завесой самых благих намерений поддержания порядка и достижения процветания.

Отца беспокоили и сиюминутные проблемы. Стоит ослабить репрессивный режим, и люди потребуют правды, правды о прошлом и, естественно, о настоящем. Как политик отец считал – сокрытие правды о чудовищности сталинского режима смерти подобно. Политической – безусловно. В таком случае, чтобы удержать власть, придется или творить такие же беззакония, запутываясь во все новых преступлениях, или ожидать, когда во всем разберутся, но уже без них. Первого отец не мог себе даже представить. Второе не отвечало его натуре, он привык, не ожидая ударов судьбы, упреждать их.

Как мы знаем, отец решил действовать. Вот как он описывает заседание Президиума ЦК, обсуждавшее записку Пospelова, то самое, с которым читатель уже познакомился в изложении Малина:

«Я собрался с силами и поставил вопрос: “Товарищи, а как же быть с запиской товарища Пospelова? Как быть с расстрелами, арестами? Кончится съезд, и мы разъедемся, не сказав своего слова. Ведь мы уже знаем, что люди, подвергшиеся репрессиям, были невиновны... Люди начнут возвращаться из ссылки, мы же держать их там теперь не будем”.

...Как только я закончил говорить, тут сразу на меня все набросились. Особенно Ворошилов: “Что ты? Как это можно? Разве можно все рассказать съезду? Как это отразится на авторитете нашей партии, на авторитете нашей страны? Это же в секрете не удержишь! И нам тогда предъявят претензии. Что мы можем сказать о нашей роли?”

Очень горячо возражал Каганович. Это было желание уйти от ответственности. Если сделано преступление, то замять его, прикрыть.

Я говорю: “Это невозможно, даже если рассуждать с ваших позиций. Мы проводим первый съезд после смерти Сталина. На этом съезде мы должны чистосердечно рассказать делегатам всю правду о жизни и деятельности нашей партии. Мы отчитываемся сейчас за период после смерти Сталина, но мы, как члены Центрального комитета, должны рассказать и о сталинском периоде. Как же мы можем ничего не сказать делегатам съезда? Съезд закончится. Делегаты разъедутся. Вернутся бывшие заключенные и начнут их информировать по-своему. Тогда делегаты съезда, вся партия скажут: позвольте, как же это так? Был XX съезд – и там нам ничего не сказали. Вы что, не знали о том, что рассказывают люди, вернувшиеся из ссылок, из тюрем? Вы должны были знать!”

Мы ничего не сможем ответить! Сказать, что мы ничего не знали – это будет ложью, есть записка товарища Поспелова, и мы теперь уже знаем обо всем. Знаем, что репрессии были ничем не обоснованы, что это был произвол Сталина”.

Ответом была опять очень бурная реакция. Ворошилов и Каганович повторяли в один голос: “Нас притянут к ответу”.

Я сказал: “Я готов как член Центрального комитета с XVII съезда и член Политбюро с XVIII съезда нести свою долю ответственности перед партией, если партия найдет нужным привлечь к ответственности тех, кто был в руководстве во времена Сталина, когда допускался этот произвол... Даже у людей, которые совершили преступление, раз в жизни бывает такой момент, когда они могут сознаться, и это принесет им, если не оправдание, так снисхождение. Это можно сделать только на XX съезде, на XXI съезде уже поздно будет...”

Сейчас не помню, кто после этого персонально поддержал меня. Думаю, что это были Булганин, Первухин и Сабуров. Не уверен, но думаю, что, возможно, Маленков тоже поддержал меня.

Тогда возник вопрос, кто должен делать доклад? Я предложил, чтобы доклад сделал товарищ Поспелов. Другие, я сейчас не помню, кто персонально, предложили, чтобы доклад сделал я... “Если сейчас не ты выступишь, то возникнет вопрос: почему Хрущев в отчетном докладе ничего не сказал. Не мог же Хрущев не знать. Следовательно, возможно, что есть разногласия в руководстве, и Поспелов выступил с собственным мнением”. Этот аргумент заслуживал внимания, и я согласился...»

Микоян в своих мемуарах с Хрущевым не соглашается, в его памяти дискуссия о докладчике запечатлелась иначе: «Когда речь зашла о докладчике на съезде, я предложил сделать доклад не Хрущеву, а Поспелову как председателю комиссии ЦК партии. Хрущев мне ответил: “Это неправильно, потому что подумают, что Первый секретарь уходит от ответственности и вместо того, чтобы самому доложить о таком важном вопросе предоставляет возможность выступить докладчиком другому”. Хрущев настаивал, чтобы основным докладчиком был именно он. Я согласился, так как при таком варианте значение доклада только возрастало. Он оказался прав».

В приведенных выше записках Малина ничего подобного не зафиксировано, Анастас Иванович что-то напутал... или запутал. Не знаю.

«Мы утвердили все выводы комиссии Поспелова без изменений, – я возвращаюсь к воспоминаниям Микояна, – но она не внесла предложений по открытым процессам 1930-х годов, заявив, что не сумела разобраться, ей это оказалось не под силу. Тогда Хрущев предложил создать новую комиссию – специально по открытым судебным процессам, включив туда, кроме уже работавших членов, также Молотова, Кагановича и Фурцеву. Мою кандидатуру он почему-то даже не назвал.

Я не возражал против предложенного состава. Может быть, если бы это было предварительным обменом мнений, я бы и возразил. Ведь соображение об участии в сталинском руководстве уже отпало. Но почему только для Молотова и Кагановича? Возможно, было бы целесообразно мне быть там, чтобы противостоять в случае необходимости Молотову и Кагановичу. Я думал о роли Кагановича, а также о том, что Молотов тогда был вторым лицом в партии и государстве и во многом помогал Сталину в ходе репрессий. Стоило ли их включать в состав, где остальные участники были намного ниже по положению в партии?

Но в тот момент возражать и объяснять причины было неудобно, ибо предложение было одобрено без оговорок. Кроме того, я думал, что они уже поработали и в отношении судебных процессов и результат будет такой же, как и в отношении репрессий.

Но мы ошиблись. Через некоторое время новая комиссия представила предложения в том смысле, что, хоть в те годы не было оснований обвинить Зиновьева, Каменева и других в умышленной подготовке террора против Кирова, они все же вели идеологическую борьбу

против партии и пр. Поэтому, делала вывод комиссия, не следует пересматривать эти открытые процессы».

Такая комиссия существовала, но, как свидетельствуют документы, создали ее не до, а после XX съезда. Сначала ее возглавлял Молотов, а после него председателем комиссии стал Шверник. Работала она не спеша. Результаты появились ближе к 1964 году. Пришедшее к власти брежневское руководство отправило их в архив.

Вернемся теперь к событиям, последовавшим вслед за оглашением записки комиссии Пospelова. Почему ни на заседании Президиума ЦК 9 февраля 1956 года, ни после него даже не встал вопрос о включении раздела о Сталине в отчетный доклад ЦК съезду?

Во-первых, к тому времени отчетный доклад уже окончательно отшлифовали, все шероховатости убрали, Сталин не восхвалялся, но и не критиковался, а о репрессиях вообще не упоминалось. Писался он не один месяц, работавшие над ним люди вообще не имели понятия о комиссии Пospelова. Окончательный текст доклада утвердили на заседании Президиума ЦК 30 января 1956 года, и переделывать его теперь поздно, через пять дней – съезд. Да и страшно вот так, без подготовки бухнуть во все колокола. Произносимый с трибуны съезда отчетный доклад транслируется по радио на всю страну, а на следующий день Госполитиздат растиражирует его в миллионах экземпляров. В отчетном докладе принято подводить итоги, говорить об успехах, намечать вехи на будущее, критиковать недостатки. Недостатки, но разве в отчете комиссии Пospelова говорится о недостатках?

Во-вторых, и это главное, отчетный доклад по регламенту полагается обсудить, собственно съезд почти все свое время и посвящает его обсуждению, а вот обсуждения Президиум ЦК, все его члены, включая отца, хотели избежать. Они понимали, что начавшиеся дебаты могут выйти из-под контроля, зайти так далеко, что и костей не соберешь. А там еще выборы нового ЦК...

Вот и разделили доклады, решили рассказать правду о Сталине, но уже после того, как «занавес закроют», после прений и, главное, после выборов.

Утром 13 февраля 1956 года, через четыре дня после обсуждения записки Пospelова собралось предсъездовское заседание Президиума ЦК, решали организационные вопросы: регламент съезда, кого выбрать в Президиум, кого в Секретариат. «Женщин маловато», – посетовал Молотов. Микоян с Первухиным с ним согласились, предложили в Президиум съезда добавить двоих, работницу и колхозницу и соответственно поправить состав других органов. Затем слово взял Сулов.

– Пленум открыть товарищу Хрущеву, – записывал за ним Малин. – Сказать, что на съезде будет доклад о культе личности. Сделает его товарищ Хрущев.

– На закрытом заседании, – уточнил отец. Никто не возражал. На том и порешили.

В тот же день вечером открылся Пленум ЦК. Как обычно председательствовал на нем Хрущев. Приведу выдержки из стенограммы.

– Президиум рассмотрел отчетный доклад ЦК съезду и одобрил. Будет ли Пленум заслушивать доклад? – задал он трафаретный вопрос.

– Одобрить. Завтра услышим! – столь же трафаретно ответил зал. Обычно на этой ноте и заканчивались предсъездовские Пленумы, но на этот раз отец медлил.

– Есть еще один вопрос, – он запнулся, но всего лишь на мгновение. – Президиум Центрального Комитета после неоднократного обмена мнениями, изучения обстановки, материалов после смерти товарища Сталина чувствует и считает необходимым поставить на XX съезде партии, на закрытом заседании (видимо, это произойдет в то время, когда закончится обсуждение докладов и утверждение кандидатов в руководящие органы Центрального Комитета, членов и кандидатов в члены ЦК, членов Ревизионной комиссии, а гости все разъедутся), доклад от имени ЦК о культе личности, – голос отца звучал уверенно, недавнее вол-

нение само по себе ушло. – На Президиуме мы условились, что доклад поручается сделать мне, Первому секретарю ЦК. Не будет возражений?

– Нет, – пронеслось по залу, члены ЦК привычно согласились и не задали вопросов.

Вот так, даже не поинтересовавшись, что это за диковинный доклад, члены Пленума ЦК приняли одно из важнейших решений в своей жизни. На этом заседание закрылось. Завтра съезд.